

«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш. ... Возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои».

(Ис. 40: 1-2)



«Народ - венец земного цвета
Краса и радость всем цветам:
Не миновать Господня лета
Благоприятного - и нам».

А. Блок.

ЖИВОЕ СЛОВО

Вячеслав Арсентьев РАССКАЗЫ

Дом

Дом стоял на краю деревни. Рядом проходила проселочная дорога, а от нее - тропинка к реке. Неширокая, только ногами топтанная тропка, прижатая полем к тычиннику, тянулась вдоль всего длинного огорода и гуменика, прокладываясь по пашне каждый год заново, но направления никогда не меняла, упираясь всегда в одно и то же место высокого берега Неи.

Дом построили еще до войны, а когда мне было лет пять, подружили, сменив нижние, подгнившие, бревна. Отец вырезал красивые наличники, покрасил их голубой краской, и дом помолодел. Лишь старое серое крыльцо, являвшееся как бы продолжением огромного, раза в два больше жилой части, сарая, говорило, сколько ему на самом деле лет.

Осваивать сложный, запутанный, непостижимый и пёстрый мир я начал с изучения дома, его пыльных закоулков и темных углов, светлого чердака и прохладного подвала, по нашему, - потолка и голбца, таинственного и захлещенного сеновала и огромного пространства самого сарая.

Дом мне казался основой, главной частью окружающей жизни, центром бытия, большим и загадочным, наполненным множеством необыкновенных вещей, которые существовали еще в том, не моем еще, старом мире. На потолке я как-то обнаружил желтый приземистый пузатый самовар, каких не встречал ранее; массивные, в черном деревянном корпусе часы с фигурными бронзовыми стрелками и непонятными цифрами. Вверху на проволоке висели белячи и заячки шкурки. Днём здесь было всегда светло. Свет проникал в широкую раму под коньком крыши.

Зато как темно и прохладно становилось, когда я, исследуя дом, спускался в голбец или забирался через узенькую дверцу со стороны двора под мост, где окутанные паутиной и покрытые бархатом пыли стояли высокие, выше моего роста, бутылки с керосином в плетеных чехлах, пустые кадушки и старые санки. В этом полутемном сыром месте я играл в путешественника или партизана, зарывал в землю ящики с моим деревянным оружием, делал тайники и засады на «фрицев».

Но ничто не притягивало к себе так неудержимо, как многометровый сарай, вернее, верхняя его часть, что зовется сеновалом. Зимой сеном набивалась только его половина, а летом, когда сена почти не оставалось, здесь устраивали полога - единственное и самое верное средство от многочисленных и разнокалиберных кровососу-

щих. А вторая, ближняя к рундуку, половина всегда оставалась хранилищем нужных и ненужных вещей. Чего тут только не было! Как поднимаешься по лесенке с рундука на сеновал, справа в полумраке увидишь длинный высокий ларь, где хранилась черная и белая мука. Рядом с ним - внушительных размеров две кадки. Одна наполовину набита спичками, вторая наполнена спекшейся, окаменелой солью (это остаток былого страха перед войной), чуть дальше - старинные жернова. Их мать иногда использует, если вдруг заканчивается мука, а в колхозе есть возможность получить зерно. Слева от лестницы - наследство бабушки Александры. Ее давно нет в живых, а вот льномялки, теребилки, ручной ткацкий стан и еще что-то из той патриархальной крестьянской жизни, что и представить трудно, все в целостности и сохранности, пригодное к работе, но не нужно и потому свалено в одну кучу.

Если распахнуть широкие полотна ворот сеновала, то сразу станет светло и весело, и с высоты будут видны огородные грядки, старые яблони-дикарки, слева - вишневые деревья, справа, в конце огорода, - приземистая, с железной трубой баня, а дальше - гуменики, васильковое колхозное поле, которое сбегает вниз, к реке, и сама река, сверкающая на солнце посередине и сереющая холодной сталью на противоположной стороне, ее изгибы и песчаные отмели, поросшие ивняком берега, а еще дальше - синее сплошное поле леса; далеко-далеко, кажется, за сотни верст отсюда он сливается с голубым небом.

Жилой дом делился на три части: куть - прихожая, переборки - кухня и половица, или передняя, то есть зало. За широкой русской печкой, на всегда теплой спине которой так приятно было отогреваться после долгих катаний с угора на январском морозе, за дощаной перегородкой находилась крошечная комната - спальня с двумя кроватками и сундуком. В куте за внушительного размера столом мы собирались все вместе, трое взрослых и пять ребятшек, у никелированного аккуратного самовара во время вечернего чаепития. Взрослые, беседуя, еще сидели у самовара, а мы в передней строили из стульев и табуреток какое-то сооружение, покрывали его старым байковым одеялом, забирались внутрь и, прижавшись друг к другу, рассказывали страшные истории...

Чем старше я становлюсь, тем чаще снится мне дом, где я появился на свет среди сена и соломы под старыми бревенчатыми сводами крестьянского двора под вздохом коровы, овечьё блеяние и петушьи переделки, где прошло мое детство в окружении семейного лада и природной гармонии под завывание февральской метели за прочными деревянными стенами, под неповторимый несмолкаемый стрекот неугомонных августовских кузнечиков, когда так не хотелось засыпать в домотканом пологу на свежем пахучем сене.

Мне чаще и чаще снится дом, где я был счастлив своим великим и таким завораживающим сладким незна-

нием этого огромного, неприятного и непонятного мира, где я был охраняем теплыми прочными стенами, как панцирем, от его суеты и враждебности.

Каков сейчас ты, родной мой дом? Жив ли? А если жив, то изменился, наверное, постарел, врос в землю. Липы, посаженные рядом с тобой отцом, и береза, что мы когда-то в раннем детстве крохотной принесли из леса с братом, которого уже нет в живых, вымахали и летом шумят над тобой, а в сентябре осыпают твою старую крышу сухой желтой листвой. А может, ничего этого и нет: ни дома, ни лип, ни березы, как нет и того удивительно доброго периода человеческого существования, что называется детством.

«Как хороши,
как свежи
были розы...»

Дорогой современный ресторан, с дорогими зеркалами в простенках, с современной музыкой и длинноногими официантками в коротких юбках.

Двое «новых русских» пьют дорогой, под сто баксов бутылка, коньяк. У молодого - бритый, широкий затылок. Сам он - плотен и высок, такие работают охранниками в дорогих гостиницах. Второму лет под пятьдесят, коренаст, полноват, с обозначившимся под дорогом пиджаком животом. По разговорам видно, что ни образования хорошего, ни культуры - ни у того, ни у другого. Как и положено, больше говорит старший: - Понимаешь, Витек. Что-то перестал я радость от жизни получать... Дела вроде бы кручу неплохо. «Зелени» хватает. А радости... её-то как раз и маловато...

Он опрокидывает в себя рюмку коньяка и продолжает: - Вот помню. Пошел я в первый класс из деревни в поселковую школу. Отец отдал мне новую полевую сумку... Знаешь, были такие, как из голенища от кирзового сапога. Не нравилось. Стеснялся я. У всех в классе - портфели, а у меня - полевая сумка. А потом батька привез из Ленинграда настоящий кожаный портфель. Кожаный! Понимаешь! Для деревни по тем временам это круто! Так вот радости было - сверх головы. Даже ночью подходил к нему, нюхал кожу (и сейчас помню, как пахла та, настоящая кожа), шелкал никелированными замками. Да... Недавно вот купил «джипры» за полтора лимона. Конечно, приятно, не скрою: все-таки не последний чалдон в России. Приятно - но не больше. А радости... той детской, настоящей, нет... Запаха кожи... Это не передать... Он закрывает глаза, а когда открывает, в них блестит что-то, как будто слезы. - Запах настоящей кожи, не дермантина поганого - кожи, до сих пор помню... Что дорого-то, радость была - настоящая!»

Молодой молча жует, вылавливая что-то из глиняного горшочка,

почтительно слушает, но ему совершенно непонятна тоска... по запаху кожи школьного портфеля. Неожиданно вдруг вспоминается неизвестно где и когда услышанная фраза: «Как хороши, как свежи были розы...»

«Феникс»

К середине зимы Анна совсем стала плоха. Уже не бродила по дому, больше лежала под теплым ватным одеялом, дремала, поднималась только тогда, когда приносили в ее комнату чай, кашу да соленые огурцы (другого в рот не брала), на ведро ходила редко. Сделалась худой и молчаливой.

Раньше, до больницы, тоже много лежала, зато охотно вступала в любые разговоры, иногда открывала «Евангелие» и отрывной настольный календарь и, поместив на кончике длинного горбатого носа очки, негромко бормотала.

Потом ее отвезли в больницу, брали какие-то анализы, прослушивали, но, так ничего и не обнаружив, к началу зимы отпустили домой. Она поняла: умирать. Однако не расстроилась, была совершенно равнодушна к своей судьбе и спокойно ждала смерти. Она знала, что в 75 покидать этот мир совсем не рано. Мать покинула его в 60, отец - в 70, брата убили на войне в 20, муж бросил ее в молодые годы, а сам помер на стороне где-то в 50, так что она отжила больше их всех.

Вместе со снегом пришли морозы, и окно ее комнаты с видом на старый дровяник покрылось матовыми узорами. Теперь мир сузился до пределов маленькой комнаты, где даже днем господствовал полумрак. Соседи и знакомые заходили все реже и реже, и она несколько раз в день видела только дочь, иногда зятя и внука. Сын, живший рядом, заходил нечасто. Предоставленная сама себе, она заполняла свое одиночество воспоминаниями о прошлом: сны очень быстро забывались. Никаких болей в теле Анна не чувствовала, кроме общей старческой слабости и постоянного шума в ушах. И в то же время она не чувствовала никакого интереса ни к чему. «Аппетиту нету», - говорила она, когда приносили еду. Равнодушные и апатичные настолько были сильными, что с трудом заставляла себя сходить на ведро.

Через плохо прикрывавшуюся дверь иногда слышала, что говорили о ней самые близкие. «До весны не дотянет, совсем как доска стала», - говорила дочь. Вечно выпивший зять громко возражал: «Не скажи! Вон годами старухи-то лежат!» А сын добавлял: «Сухое полено быстро горит!»

В марте в её комнату стало заглядывать солнце. Окно очистилось, и старуха часами глядела на серую сырую крышу сарая; снег на крыше с каждым днем убывал. Иногда на конёк садилась сорока, крутила чёрной головой и улетала. А выше конька крыши простиралось бесконечное небо, днем почти всегда чистое, бездонное, к вечеру покрытое высоки-

ми кучевыми облаками. Облака, клубясь, перемешиваясь, наползая друг на друга, создавали причудливые картинку, сценки, выдвигались в них люди и животные. И вдруг бабке Анне захотелось увидеть людей и реальные сцены поселковой жизни!

Окно другой маленькой, внуковой, комнатки выходило на улицу. Внук учился в городе и приезжал только на каникулы. Как-то Анна попросила, чтобы её «перевели» туда. Ей постелили на диване, и теперь она, опираясь спиной о подушки, могла часами наблюдать за улицей. Там было много интересней, чем во дворе. Проезжали машины и проходили люди. Многие она знала и, прищурившись, узнавала. «Алька-то себе, видно, новый плащ купила, не видела на ней такого. Вот форсит! Вот форсит! 50 лет, а все наряды на уме», - говорила она себе, обсуждая соседку из дома напротив. - «Мишка, бес окаянный, опять пьяный идет. Ишь качается, и нога за ногу! Зинка ему баню сейчас устроит!» - бормотала Анна в другой раз, узнав молодого мужика с их улицы. - «А это чего Ивановым привезли? Поди, опять сахарный песок! Али муку?», - терялась она в догадках, потому что не видела из-за машины, что понесли Ивановым, в дом наискосок от её окна.

Просьпаясь рано утром, бабка Анна занимала свой наблюдательный пункт и с интересом смотрела на весеннюю просыпающуюся улицу в ожидании прохожих и уличных сценочек. Бежали школьники с ранцами за спиной, проходили взрослые на работу и с работы, брели старики, разномастные собаки шныряли туда-сюда. «А Егоровы своего волкодава опять с цепи спустили. Ребятишек ведь покусает!» - говорила она дочери за завтраком. - «В том году Сашку Пронина покусал, а они опять отпускают. Что за люди!»

Она съедала кашу, выпивала чай и опять с интересом выглядывала в окно. У нее появилась забота и... работа. Ей вдруг сделалось интересно жить. Реже она стала уходить в себя: некогда было! Прикрыв глаза, она думала: «Чего это там у Опариных мужики-то собрались? Или этот книгочей Волков опять мужиков политикой балует? Или новую баню будут ставить? Вон сруб-то у пруда уже готов!»

В начале мая, на Пасху, она рано (все еще спали) сама поднялась с дивана, встала босыми ногами на прохладный крашеный пол, постояла минуту, привыкая к вертикальному положению и, опираясь руками на стену, печку и комод, тихонько побрела в прихожую, где в углу висела икона Спасителя...

С этого дня бабка Анна начала ходить.

